



Ирина Маркина
Благодетель

«Литературная матрица»

2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Маркина И.

Благодетель / И. Маркина — «Литературная матрица», 2026

ISBN 978-5-6055125-3-0

187* год. Архимандрит монастыря близ провинциального города N., став жертвой интриг, оказывается в безвыходном положении. У него остается одна надежда – на покровителя, богатого помещика. Роман «Благодетель» строится на перекрестии двух главных персонажей: монаха Германа, в миру Алексея Илларионовича Фаворского, и помещика-миллионщика Аполлона Владиславовича Темирханова. Средних лет, породистый, осознающий свою власть, Темирханов резок и насмешлив по отношению к Герману, однажды прибывшему хлопотать по делам обители, – за внешним идеализмом монаха Темирханов сразу распознает личный интерес. Во встречах и расставаниях Германа с благодетелем проходит почти все действие романа. Ирина Маркина рассказывает пронзительную историю о маленьком человеке и противостоянии злу. В этом смысле «Благодетель» не только исторический роман, но и предельно актуальный.

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-6055125-3-0

© Маркина И., 2026
© Литературная матрица, 2026

Содержание

Пролог	6
Часть I	8
Глава первая	8
Глава вторая	11
Глава третья	15
Глава четвертая	18
Глава пятая	21
Глава шестая	25
Глава седьмая	28
Глава восьмая	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Ирина Маркина Благодетель



© И. Маркина, текст, 2026

© А. Веселов, обложка, 2026

<https://litmatrix.ru/>

Пролог

– Красильников, *lege*¹... читайте.

Тишина.

– Красильников!

– Красильников болен, – отвечает густой бас с камчатки.

Раздаются смешки.

– Молчи, дубина! – огрызается Красильников.

– Читайте, Красильников, – устало повторяет латинист, замечая наконец, что в классе стоит тяжелый винный дух. – А вы, Колесников, откройте окно, дышать нечем.

За окном лает собака; ее громко, визгливо бранит какая-то баба. Красильников начинает читать по хрестоматии, слегка модулируя голосом, точно в церкви, но его никто не слушает, не исключая, как кажется, и латиниста. Пользуясь этим, он прочитывает несколько строк, а потом повторяет их же во второй и в третий раз. Снова слышатся смешки. Латинист шевелится на своем стуле.

– Жаль, Красильников, что вы и с третьей попытки не можете прочесть правильно. Да, к слову, потрудитесь переписать вашу проповедь.

– Лексей Ларионыч, – привычно начинает Красильников.

– Эта проповедь не ваша.

– Лексей Ларионыч, Христом-Богом...

– Не совестно вам? Вы ее слово в слово взяли у Иннокентия Херсонского.

Алексею Илларионычу Фаворскому двадцать седьмой год. Красильников одного с ним роста и заметно шире в плечах. Он знает, что перепишет проповедь откуда-нибудь еще, и латинист ее примет. Алексей Илларионыч тоже это знает.

– Аедоницкий, переведите...

Класс заканчивается. В коридоре латинист встречается с математиком, своим однокашником по академии.

– Слыхал, Цветков рукополагается?

– Будто? – удивляется латинист. – На какое место?

– К Успенью, место хорошее.

– А Петропавловский? Он сам мне говорил...

– Э, куда ему! – математик презрительно присвистывает.

Петропавловский против воли архиерея женился на благородной, но ничего, кроме пары модных платьев с хвостом, за нею не взял, и перебивается с хлеба на воду в одном из самых бедных городских приходов.

– Что, будешь нынче у Яхонтовых? – спрашивает математик.

– Нет... Занят, времени нет.

– А старик о тебе справлялся. Ты бы подумал, брат...

– Оставь, пожалуйста! – сердится латинист.

Математик смеется.

Алексей Илларионыч выходит; ему подворачивается извозчик. До архиерейского дома рукой подать, и в другое время Фаворский прошелся бы пешком, чтобы проветрить голову и заодно сберечь десять копеек, однако на улице очень уж грязно и гадко, и он садится в ветхую пролетку.

Пролетка трясется и прыгает, но седок едва это замечает. Дорогой он думает о том, что к Рождеству сшил у хорошего портного сюртук и купил хоть дешевые, но недурные запонки – их,

¹ Читай (лат.). Здесь и далее примеч. автора.

пожалуй, надо снести оценщику... Потом на ум ему приходит театр. Студентом он смотрел в Москве «Эмилию Галотти» и еще одну русскую комедию – знаменитый Вильде, исполнявший главную роль, произвел на него большое впечатление...

Уже выйдя от архиерея, он вдруг встречает Яхонтова, чиновника из консистории, и хочет, поздоровавшись, пройти мимо, но тот останавливает его. Алексею Илларионычу жаль старика – так же, как свой новый сюртук. Он хочет сказать Яхонтову что-нибудь утешительное, но не находится. В самом деле, что скажешь отцу двух немолодых, некрасивых дочерей, для которых и он, Фаворский, подходящий жених, хотя за душой у него, как поется в известной бурсацкой песне, одни словари?

– Что, у владыки были? – спрашивает Яхонтов.

– Да. – Алексей Илларионыч медлит, но потом решает, что скрываться уже нечего. – Я прошение подал, через месяц постриг.

Яхонтов открывает рот, потом закрывает его и кисло улыбается.

– Вон оно что. Дай Бог, молодой человек, дай Бог. Вы, кажется, далеко пойдете.

Часть I

Глава первая

В начале мая 187* года у парадного подъезда старого барского дома в Пустом, что в десяти верстах от губернского города N., остановился ветхий экипаж. В нем сидел монах – молодой, лет тридцати, в клобуке и хорошей полушелковой рясе. Подобрал, чтобы не запахнуть, полы рясы, он сошел с подножки.

Это был Алексей Илларионыч Фаворский, теперь Герман, архимандрит Митрофаньево-Мизгиревой пустыни. С того дня, как над ним пропели «Объятия отча», минуло два с половиною года. Монашество шло ему: ряса скрадывала недостатки его роста и сложения, а отпущенные волосы и жидкая русая борода делали непримечательное узкое лицо довольно благообразным.

Дверь отворил лакей во фраке и белом галстуке. Фаворский справился, дома ли барин, и подал свою карточку. Впустив его в темную переднюю, лакей пошел докладывать. Через минуту где-то наверху, на лестнице, послышался раздраженный низкий баритон:

– Монах? К черту...

У Фаворского, прекрасно это расслышавшего, немного дернулось лицо.

– Не могут принять-с, – сказал лакей, вернувшись.

За неделю до того Фаворский пил у себя в покоях вечерний чай. Допив второй стакан, он окликнул келейника, возившегося в сенях. Келейник, малый лет двадцати по имени Григорий, явился на зов, вытирая ладони о полы нанкового подрясника.

– Ушел Ефим?

– Ушел, как не уйти, – пожал плечами Григорий.

– Покажи руки, – велел архимандрит. – Поди вымой... Вечно ты в чем-то вымажешься.

– Скверными словами вас ругал, – заметил келейник из-за дверей, гремя стержнем умывальника.

– Кто?

– Ефим, кому еще.

Фаворский поджал губы. Ефим был послушник, которому он давеча утром, после долгой переписки с консисторией, вручил паспорт и справку о поведении с тем, чтобы тот отправлялся из обители на все четыре стороны. За Ефимом числилось немало проступков, но последней каплей, переполнившей чашу терпения настоятеля, стало то, что, повздорив с каким-то мужиком в деревне, Ефим, по свидетельству очевидцев, схватился за нож, который у него, по счастью, тотчас отобрали.

– С генеральшей второй удар был, слышали? – прервал размышления настоятеля Григорий, собиравший со стола посуду.

– Слышал, слышал, – поморщился Фаворский. – Ну, как Бог даст...

– Каков, а? – келейник имел в виду сына помянутой генеральши. – Барышню, прижиwalkу, теперь наверно без гроша оставит... Она ведь в уме, старуха-то, но слаба, и он над ней всю волю взял. Ежели по духовной кому что и следовало...

– А тебе что за дело? – перебил архимандрит, недовольно уставившись на служку.

– Не прикажете еще чего? – спросил тот невозмутимо.

– Нет, ничего не нужно, ступай.

Григорий сложил руки корзиночкой и наклонил голову. Фаворский встал, осенил его крестом на сон грядущий и, снова сев к столу, взялся за книгу, все еще, впрочем, думая о генеральше. Но келейник не уходил и топтался на месте, видимо желая еще что-то сказать.

– Ну?

– В Пустое, говорят, намердись баб согнали. – Григорий, разглядывавший носки своих сапог, не удержался и быстро взглянул на настоятеля, желая увидеть, какое впечатление произвели его слова.

– Каких баб? Зачем?

– Знамо, дом готовят. Едет, стал-быть, миллионщик, уж сколько его ждали.

Слух о приезде в Пустое, село рядом с монастырем, богача помещика из Петербурга действительно ходил давно.

– Он, может, имение продаст и обратно уедет, – не совсем уверенно отвечал архимандрит.

– Надо ему самолично ехать продавать, – фыркнул служка, глядя на него как на скудоумного. – Не такой человек.

– Да тебе почем знать, что он за человек? – почти рассердился Фаворский.

Григорий пожал плечами, как бы говоря, что он-то, может, знает поболее прочих. Настоятелю захотелось расспросить его, но опускаться до сплетен он не желал. «Нашел кого слушать, дурака этакого», – сказал он себе, отослав Григория, однако весь оставшийся вечер пребывал в большой задумчивости.

Приезд в Пустое барина наделал в губернском городе много шуму – и не без причины. Звали его Аполлоном Владиславовичем Темирхановым; его отец был блестящий николаевский генерал, который, хотя рано овдовел и женился в другой раз, детей более не имел и, скончавшись, оставил единственного сына наследником своего немалого состояния. Аполлон Владиславович – ему минуло тогда лет семнадцать или восемнадцать – вел жизнь несколько беспорядочную и был даже болен расстройством нервов, так что опекуны отправили его лечиться за границу... С тех пор, однако, довольно утекло воды, и Темирханов был известен как человек практический и серьезный, имел знакомства в деловом мире и участвовал, не без успеха, в коммерческих предприятиях; на одном из этих предприятий кое-кто из бывших его опекунов почти совершенно разорился – и поговаривали, что это сделалось не само собою.

Газеты хвалили Темирханова за то, что администрация принадлежавших ему заводов пеклась об улучшении быта рабочих и их семейств, и еще за то, что во время недавней кампании он немало жертвовал на нужды раненых; писали в газетах, впрочем, и кое-что еще, и не только в газетах, а и в анонимных письмах, которые Темирханов получал, – но на всех, как известно, не угодишь, и на всякий роток платка не накинешь.

Имея тысяч триста годового дохода, Темирханов вел жизнь холостого и не обремененного службой человека, более усердного к вину и к банку, нежели к церкви. Зато мачеха его, во втором замужестве Липницкая, входила в число тех добродетельных светских дам, которые, к радости одних духовных особ и к негодованию других, имеют в высших церковных кругах вес и влияние. В сборных книжках имя ее помещалось рядом с именами княгини Мещерской и графини Ламберт; была она и одною из защитниц знаменитой игуменьи Митрофании, урожденной баронессы Розен, и вместе с другими сделала то, что Митрофания, приговоренная за подлог к ссылке в Енисейскую губернию, вместо этого отправилась на жительство в Ставрополь.

Темирханов находился в самых почтительных отношениях к мачехе и оплачивал как личные ее счета, так и ее благотворительность.

Будучи обо всем том более или менее наслышан, Фаворский предполагал найти в этом новом лице человека щедрого и если не благочестивого, то во всяком случае и не такого, каков был один из местных помещиков, не переносивший, по его словам, *поповского духу*, – и связывал с его приездом некоторые не лишние приятности надежды. Посему легко понять, что

нелюбезный прием, который он встретил в Пустом, явился для него довольно-таки горьким разочарованием.

Но минуло два дня – и, когда он сидел у себя и составлял новую проповедь, Григорий принес записку.

– Из Пустого привезли, – буркнул он.

Фаворский не глядя отмахнулся – не сейчас, мол. Служка, постояв, спросил недовольно:

– Будете, что ли, отвечать?

Архимандрит рассеянно посмотрел на Григория и только тогда сообразил – Пустое, Темирханов!

Сломав печать, он с большим волнением пробежал глазами несколько строк, писанных ровным, твердым почерком.

«Сожалею, – писал Темирханов, – что не имел возможности принять Ваше Высокопреподобие третьего дня по причине нездоровья. Почтительно прошу Вас пожаловать ко мне обедать, запросто, без церемоний. Я пришлю экипаж завтра, в половине шестого; если же Вам это почему-либо неудобно, Вы обяжете меня, назначив другой день. Имею честь оставаться...»

– Что сказать-то? – не вытерпел келейник. – Человек ихний ждет.

Тихонько заглядывая через плечо настоятелю, он силился что-нибудь разобрать, но не мог, поскольку умел читать только по печатному.

– Скажи, сейчас ответ будет.

Забыв про свою проповедь, Фаворский тут же, под нею, набросал несколько строк, из которых следовало, что он *почтет за честь принять столь любезное приглашение etc.*, перечел, кое-что, на посторонний, впрочем, взгляд могшее показаться и совсем незначительным, вычеркнул, кое-что прибавил; перечел еще раз, нашел, что вышло недурно – почтительно, но без подобоострастия, – выбрал перо, которое, как казалось ему, писало аккуратней прочих, и принялся переписывать набело.

Глава вторая

На другой день к монастырским воротам подъехала превосходная коляска парой, блестящая свежим лаком. Фаворский нервничал, как перед ревизией, но успокаивал себя тем, что барин из Пустого сам пригласил его и что, стало быть, бояться нечего. Более того, внушал он себе, при известном везении это знакомство может оказаться полезным, очень полезным...

Тот же лакей, что и давеча, проводил его в залу. Хозяин уже ждал – это был господин средних лет, росту скорее высокого и хорошо сложенный. Лицо, правильное, что называется, породистое, имело выражение любезное, но несколько начальственное, темные глаза смотрели пристально; черные усы, соединенные с небольшой бородой, придавали всей физиономии резкость и определенность.

Несмотря на сделанную в записке оговорку – *без церемоний*, – сюртук на господине был черный и панталоны черные, а жилет белый, низко вырезанный, так что Фаворский порадовался про себя, что догадался явиться в клубе, а не в шляпе, и с магистерским крестом в петлице. Вообще же следует сказать, что за своим костюмом он следил и, как только, кончив академию, получил место и жалованье, завел хорошее белье и платье и не скупился на прачку. И надев рясу, он своим привычкам не изменил, в особых случаях – как теперь – даже выставляя из-под ворота рясы белые крахмальные воротнички. Это было уже известным щегольством, и преосвященный владыка, если б увидал Фаворского в эту минуту, пришел бы в большое негодование. Но Темирханов, смеривший гостя немного слишком внимательным взглядом, остался, кажется, доволен и с вежливой фразой наклонил голову.

Монах ответил почтительным, слегка угловатым поклоном и, робея, пробормотал:

– Покорнейше благодарю за приглашение, ваше... – тут он немного замялся, – ваша милость.

Темирханов, усмехнувшись снисходительно, позволил называть себя по имени и отчеству.

– Простите мне это замечание, но вы довольно молоды, – сказал он с той же снисходительной полуулыбкой, пригласив гостя сесть. – Давно вы управляете монастырем?

– Нет, немногим более года...

Приободрившись, архимандрит в нескольких словах изложил свое *curriculum vitae*²; едва он закончил, как объявили, что обедать подано.

Вслед за хозяином Фаворский прошел в столовую, украдкой осматриваясь. Вся обстановка в доме, очевидно, оставалась та же, что при старом барине, после кончины которого Пустое несколько раз переходило из рук в руки и сделалось даже предметом тяжбы, пока наконец не попало к настоящему владельцу, Темирханову; и эта обстановка провинциальной барской усадьбы не шла ему, будто старомодное, с чужого плеча, попорченное молью платье. По временам он и сам поглядывал на темные портреты в простенках, выцветшие обои и тяжелые бронзовые, с подвесками, начищенные к его приезду подсвечники с выражением какой-то ленивой, полупрезрительной и вместе удивленной скуки, слегка сощуривая глаза, так, будто хотел спросить – что это, дескать, такое?..

В столовой на маленьком столике поставлена была водка нескольких сортов и закуски. Фаворский, чуть замявшись, сказал, что водки не пьет; Темирханов как-то неопределенно взглянул на него, однако промолчал. Самый обед – повара Аполлон Владиславович, по собственным его словам, привез с собою из Петербурга – состоял из блюд, даже и название которых не всегда было известно архимандриту, вроде какого-то супа из перетертого цыпленка, от которого он, впрочем, должен был отказаться, как и от паштета, в пользу ухи с пирожками

² Жизнеописание, послужной список (*лат.*).

и других кушаний из рыбы... Так или иначе, обед был очень и очень хорош, и в иное время Фаворский непременно отдал бы этому обеду должное – но теперь ему было не до того.

Господ вроде Темирханова ему прежде случалось видать разве что издали, на академических и лаврских торжествах, и хотя он старался еще загодя внушить себе, что преклонение перед богатством и знатным происхождением есть предрассудок, недостойный мыслящего человека, но все-таки не мог не потеряться. Притом, зная за собою недостаток светской выучки, свойственный в той или иной мере всем духовным, он сильнее, чем обыкновенно, чувствовал, что не может ловко поклониться, а садясь, не знает, куда девать руки; и собственное неумение держаться, как это бывает, представлялось ему даже в преувеличенном свете.

Темирханов, верно, приметил это, но, не ожидая от монаха ничего иного, не подал виду. Сам он в продолжение всего обеда держался довольно любезно, отчасти даже рисуясь своим либеральным тоном – но вместе с тем, однако, отчетливо давая понять, что этим тоном снисходит до собеседника.

Говорил сперва больше хозяин, говорил неторопливо, очевидно будучи привычен к тому, что он говорит и его слушают, – о классическом образовании, затем о железных дорогах, – и Фаворский слушал со вниманием... Но порою Темирханов обращался к нему с каким-нибудь вопросом, иной раз даже не совсем простым, будто экзаменовал; и архимандриту стоило труда не скомпрометировать своего сана излишне смелыми речами и в то же время не выставить себя обскурантистом, чтобы угодить хозяину, который напоминал обыкновенного светского безбожника, *esprit fort*³... Проглядывало в нем, впрочем, и что-то от отрицателей в новом вкусе, что-то, чего нельзя было хорошенько понять и о чем Фаворскому, буквально пытавшемуся пройти между Сциллой и Харибдой, некогда было и подумать... Так или иначе, цели своей он достиг: Аполлон Владиславович, хотя время от времени принимал выражение отчасти насмешливое, казался довольным и собою, и своим гостем.

За третьей переменной речь зашла об имении: покойный хозяин, не сумевший, как и многие, примениться к новым условиям, сильно запустил его, так что главный доход, который приносило лесное хозяйство, год от году падал; пахотная же земля отдавалась в аренду, и по ней была большая недоимка.

Темирханов, по его словам, собирался продать Пустое.

– Не стоило и ехать... Такая скука здесь, – протянул он, поморщившись, и Фаворский догадался, что, должно быть, не чему иному, как этой скуке, и был обязан приглашением к обеду. – Не скучаете вы в монастыре? Вы, кажется, человек неглупый, образованный, – прибавил Аполлон Владиславович покровительственным тоном.

– Нет, я не скучаю, – бледно улыбнулся архимандрит и как бы между прочим уточнил: – Так вы ненадолго у нас?

Втайне он все же надеялся, что Темирханов не уедет скоро, – но тот подтвердил, что задерживаться не намерен. Испытав неприятное чувство, Фаворский, не подумав, сказал:

– Вы, Аполлон Владиславович, смóтрите на это глазами светского человека. Я же смотрю с той точки зрения, что на всяком месте прежде всего должно трудиться, тогда не будет и скуки.

В глазах Темирханова показалось словно недоумение, и, спохватившись, архимандрит поправился:

– Я хочу сказать, все мои обязанности здесь, потому...

Аполлон Владиславович благосклонно кивнул. Фаворский, радуясь, что ему удалось вывернуться, продолжил, что-то соображая про себя:

– Вы говорите – монастырь... Но кроме монастыря есть масса людей, и их благополучие... Я подразумеваю не только пастырское попечение, – он несколько задохнулся, – я не могу не думать... не могу закрывать глаза на самые простые, самые естественные потребности

³ Вольнодумец (*фр.*).

жителей здешней округи... Представьте, местные крестьяне до сих пор лечатся у знахарей – то есть наговорами и тому подобным...

– А что же земство? У меня есть приятель, член управы, я наслышан...

– О, не подумайте, что я критикую земства, – Фаворский ответил чуть поспешнее, чем следовало, сам заметил это и слегка покраснел, – но это именно то, о чем можно сказать: *жатвы много, а делателей мало*. У нас на весь уезд, то есть на сто с лишним тысяч человек, одна больница, в городе, и два фельдшерских пункта. Считите сами! Но дело не только в этом. Земских врачей и фельдшеров мужики боятся – в их глазах это все равно что чиновники... У карел есть даже поверье, что при обнаружении оспы сообщать о ней властям нельзя – плохая примета!

Темирханов усмехнулся.

– Больница при монастыре с этой точки зрения была бы истинным благом... Но для нее нужно помещение... оно, пожалуй, найдется... Но врачу, фельдшеру надо платить, на необходимые инструменты нужны деньги. Наконец, нужна аптека, и лекарства в ней должны быть бесплатны или по крайней мере дешевы, иначе здесь, в уезде, от нее не будет проку.

– Вы хорошо говорите, – похвалил Аполлон Владиславович.

Эта похвала показалась Фаворскому как будто двусмысленной.

– Я говорю, что думаю, – ответил он натурально, как мог. – Когда в одной деревне вспышка малярии, в другой нет ни одной семьи, где бы не болели сифилисом, а на фабрике цинга...

– Цингой болеют от дурных условий – здесь нужны не лекарства.

– Вы правы, нужны систематические меры, нужно просвещение... но и лекарства нужны. Действительно, цингой чаще болеют там, где тяжелый труд, дурные помещения, мало света и воздуха, то есть на фабриках, в острогах, это известно... Но и обычные сельские жители бывают ей подвержены, особенно в голодные зимы...

– Вы хотите строить больницу? – почти перебив, спросил Темирханов лениво, точно ему наскучило слушать.

– Нет, что вы, – самую малость растерявшись, Фаворский поспешил улыбнуться, – это одни мечты... То есть я желал бы, но доходы монастыря таковы, что не хватает и на самое необходимое – я даже с долгами расплатиться не могу...

Еще раз неловко улыбнувшись, он замолчал с таким видом, словно хотел сказать: *вам это неинтересно, не буду докучать*, – ожидая, конечно, что хозяин попросит его продолжать. Фаворский слишком не привык еще просить, и притом самолюбию его льстило, что богатый аристократ Темирханов принимает его не как просителя...

Тот, однако, ничего не ответил на это и перевел разговор. Только за кофе, который подали в зале, он, закулив сигару, заметил задумчиво:

– Я согласен, что в работе земских учреждений много путаницы и что им надобно помогать, у меня есть в этом небольшой опыт. И тому, что вы говорите, нельзя не сочувствовать...

Он говорил неторопливо, с тем же снисходительным видом важной особы, и нарочито серьезно – серьезней, чем прежде. Фаворский, начавший к тому времени немало беспокоиться, что все его усилия пропадут втуне, обратился в слух.

– Приятно, знаете ли, видеть, что молодой, образованный человек желает трудиться ради пользы общественной... и не боится при этом черной работы...

Темирханов затаился и выпустил изо рта дым.

– И вы хорошо сказали: дело можно делать на всяком месте. Напрасно, выходит, уверяют, что нынешние монахи все карьеристы.

Переменившись в лице, архимандрит принужденно улыбнулся. Темирханов внимательно смотрел на него, и от этого взгляда ему стало не по себе.

– Я допускаю, что и это бывает, – пробормотал он нетвердым голосом.

Аполлон Владиславович удовлетворенно кивнул, откровенно уже потешаясь:

– Да, и вы близко к сердцу принимаете нужды здешних жителей – это похвально... В том случае, разумеется, если вы действительно *говорили, что думали*.

– Я не понимаю, – монах, потерявшись, как-то тупо смотрел на говорившего, – вы изволите шутить...

– Нет, это вы изволите шутить, – сухо ответил Темирханов ему в тон, и у Фаворского холод прошел по спине.

– Помилуйте, Аполлон Владиславович, я вовсе не...

– Нет? В таком случае извините меня, – пожал плечами Темирханов, – вы и правда хорошо говорите, но я слишком часто слышу подобные речи, чтобы легко принимать их на веру. Хотите еще кофе? Да, вот, если угодно, один случай в этом роде – вы мне теперь напомнили...

Он начал рассказывать какой-то анекдот, но Фаворский слушал невнимательно, мечтая только о том, чтобы унести поскорее ноги. Через четверть часа он стал откланиваться. Темирханов его не удерживал и приказал заложить коляску, а прощаясь, с улыбкой подал руку – небольшую, холеную, с твердыми блестящими ногтями:

– Я очень рад нашему знакомству.

Глава третья

В последнем классе семинарии Фаворский, хотя был первым учеником, немало колебался относительно того, какую избрать дорогу. Его мать, дьяконица, овдовела, когда ему шел четвертый год, и на шестом году отдала его в ученье на казенный кошт, а сама перебивалась тем, что мыла полы, нянчила детей и тому подобное. Таким образом, Фаворский, выйдя из семинарии, должен был поскорее искать места, чтобы поддерживать мать, хотя мечтал об академии. Но старуха, высохшая от беспросветной нужды, сама велела ему ехать учиться: «Выйдешь в начальники – тогда меня упокоишь», – коротко сказала она; выйти в начальники значило стать архиереем, или по крайней мере архимандритом.

Экзамены в академию Фаворский выдержал, а на Казанскую из письма, писанного знакомым церковным старостой, узнал, что старая дьяконица вскоре по его отъезде слегла и, прохворав дня два, преставилась. Получив это известие, Фаворский помолился Богу и, хоть и не был привязан к матери, вздохнул довольно горько и пролил несколько слез, оплакивая и покойницу, и свое сиротство.

Монашеского духа в академиях тогда почти не осталось: ректоров-архимандритов потеснили ректоры-протоиереи, и студентов, не в пример прошлым годам, никто не склонял к постригу, так что студенческие постриги совершенно было прекратились. Неудивительно, что мысль, внушенную матерью, Фаворский позабыл, с азартом взявшись сперва за немецких богословов, а после и за немецких философов. Только несколько лет спустя, кончив академию и с год прослужив в провинциальной семинарии наставником, он начал подумывать, что мать, полуграмотная, с ее невежественными, устарелыми понятиями, была, пожалуй, в чем-то права...

Что ожидало его, останься он в семинарии? На службе – бесконечное, тупое повторение одного и того же; после дурной обед, поданный кухаркой, а вечером, чтоб только не сидеть на квартире, копеечный винт у одного из товарищей, бессмысленные, праздные разговоры, мелкие интриги, сплетни, скука, грязь – и, наконец, пьянство, тихое, в своем углу, или дикое, безобразное, пока не погонят со службы...

Монашеские карьеры, напротив, несмотря на все веяния времени, делаются у нас быстро – вакантные кафедры нужно же кому-то занимать.

Итак, сразу после пострига Фаворского посвятили в иеродьяконы, а через день в иеромонахи и недолго назначили хотя в такую же провинциальную семинарию, но уже не наставником, а инспектором. Со временем он был бы переведен в одну из академий или сделался бы ректором тоже где-нибудь в провинции, а там... *Аксиос, аксиос!*⁴

Увы, на проторенной этой дороге скоро явились свои *aspera*⁵. В семинарии, где служил Фаворский, вышла одна неприятная история, в которой сам он, впрочем, менее всего был виноват, но которой ловко сумели воспользоваться его недоброжелатели; его уволили от должности и произвели в архимандриты маленького захоластного монастыря.

Приехал Фаворский в конце зимы. От старых рам в его покоях тянуло холодом, вылинявшие обои кое-где отставали от стен, а разошедшиеся половицы протяжно скрипели при каждом шаге. Новоиспеченный настоятель сперва немного потерялся; тем паче что и епархиальное начальство встретило его прохладно. Архиерей, преосвященный Нектарий, немолодой, строгий с подчиненными, сидел на N-ской кафедре десятый год и на повышение не надеялся. Дела он предоставлял идти своим чередом и не терпел, когда его зря беспокоили, находя это вредным для своего здоровья: он страдал геморроидальными припадками. Вообще это был владыка

⁴ Достоин (*греч.*).

⁵ Затруднения (*лат.*).

в некотором роде старозаветный; в старые же времена, по выражению одного из наших историков, *высшей служебной задачей духовного лица было изучить характер преосвященного и применить к нему*. Но Фаворскому, как человеку молодому, ничего, кроме духовно-учебной службы, не выдавшему, половину своих понятий усвоившему из книг, а не из действительной жизни и совсем еще немного успевшему наступить себе на горло ради требований этой самой действительной жизни, – такому человеку применить к характеру владыки было нелегко. Сыграло против архимандрита даже то, что голос у него был слабый, жиденький тенорок, и служил он безо всякой аффектации: преосвященный, высоко ценивший красоту церковного служения, нашел, что он служит неблаголепно и слишком скоро.

В оправдание Фаворского заметим, что кое-какие порядки он все-таки знал и, наведя по приезде справки, занес нечто, из последних своих сбережений, секретарю консистории Малыгину – сущую, впрочем, безделицу, – а засим стиснул зубы и, сказав себе, что эта ссылка ненадолго и что о нем непременно еще вспомнят, начал хозяйничать во вверенной ему Богом и Святейшим Синодом обители.

«По введении в 1764 году штатов Мизгирева пустынь была записана в третьем классе и имела управление игуменское, – указывал Фаворский в историко-статистическом очерке, за который было принят. – В 1805 году на основании высочайшего Указа 18 декабря 1797 года в ней была учреждена архимандрия».

Сообщив это обстоятельство, он перечислял длинный ряд своих предшественников – мизгиревских архимандритов, которые почти все, по известному обычаю, подвизались на духовно-учебном поприще и в саму обитель наезжали нечасто, иные даже вовсе никогда; зато положенную часть монастырского дохода требовали исправно. Но поскольку обычай этот был не так давно упразднен, последним предшественником Фаворского был старец из простых.

«Ныне братство пустыни, – продолжал Фаворский, – состоит из 12 человек: а) настоятель (архимандрит), б) 3 иеромонаха, в) 1 иеродьякон, г) 4 монаха, д) 3 послушника штатных...»

Над этой-то братией, с прибавлением еще внештатных послушников и работников, число которых постоянно менялось, Фаворский сделан был начальником.

За дела он взялся сперва даже с азартом: надев теплый полурысок на вате и валяные сапоги, разбирал приходно-расходные книги; в церкви выговаривал старцу-иеромонаху за ошибки, а пономарю – за невыбитые ковры в алтаре и грязный стихарь; следил, чтобы скатерти и посуда в трапезной были чистыми, а келарь не отпускал на кухню мороженого картофеля и гнилой рыбы; наконец, вызывал для увещевания запойных пьяниц, хотя и без большой пользы – истребить в пустыни *пьянственное житие* было ему не под силу.

Эти хлопоты поначалу заняли Фаворского, но минуло несколько месяцев, и он должен был признать, что попал из огня да в полымя: в монастыре было еще хуже, чем в семинарии, где он служил прежде пострига. Хотя дела в пустыни точно хватало, но на все, решительно на все нужны были деньги, а денег не было, так что даже вход на ветхую деревянную галерею пришлось закрыть, чтобы никто из братии не убилися, – в отпуске леса для ремонта консистория отказала, а купить было не на что.

Фаворский захандрил, забросил недописанный очерк, перестал появляться в трапезной и вечера все чаще проводил бездельно, за книгой, не столько даже читая – пригодные для чтения книги были наперечет, – сколько глядя в окно, на белую, в осыпавшейся штукатурке монастырскую стену, и раздумывая то о своей не слишком удачно начавшейся карьере, то о том, где все-таки достать денег. Не на починку галереи – Бог с ней, с галереей, – а на то, чтобы заплатить долги, сделанные при прежних настоятелях.

Эти долги скоро сделались главной, насущной его заботой. Первое время он с большим трудом выкраивал нечто из скудных доходов, чтобы вносить хотя бы проценты, и вел переписку с кредиторами, прося отсрочки; но платить так или иначе пришлось бы, и ему не придумалось

ничего лучше, как обратиться к владыке с покорнейшею просьбой похлопотать о выделении монастырю единовременного пособия. Просьба эта чрезвычайно раздосадовала Нектария.

– Ты, отец, поставлен начальствовать – вот и начальствуй, – коротко сказал он, – а не хочешь – я тебя не держу.

Надо было искать благотворителей, и Фаворский почти преуспел – но, отчасти по неопытности, отчасти по несчастливому стечению обстоятельств, денег не достал и лишь нажил себе новые неприятности.

Более отчетливо, чем прежде, он стал понимать, что успех зависит от случая, от фортуны, а фортуна не благоволила ему; требовались колоссальные силы, чтобы не опустить руки и не отступить от намеченного пути, – но он не был колоссом и сам признавал это.

Глава четвертая

В конце мая Фаворский получил письмо от одного из кредиторов, в котором тот, ссылаясь на обстоятельства личного свойства, уведомлял, что не может дать новой отсрочки. Это известие поразило архимандрита как громом: в монастырской казне было не более пятисот рублей, а внести следовало шесть тысяч.

Ничего, кажется, нельзя было сделать, кроме как упасть в ноги владыке. Но Фаворский знал уже, что Нектарий не станет и разбирать, прав он или виноват, и не затруднится сделать его козлом отпущения; тогда о карьере останется разве мечтать... Словом, деньги нужны были ему как воздух – и, почти отчаявшись, архимандрит вдруг вспомнил о Темирханове.

Со странным этим барином, который, Бог знает, не то в самом деле видел его насквозь, не то попросту хотел соригинальничать и так, забавы ради, навести на *монашка* страху, Фаворский совсем не желал более встречаться, но выбирать не приходилось. Потребная сумма была для Темирханова не так значительна – что, если, не пытаясь уже хитрить, прямо попросить его ссудить монастырю денег заимообразно? Не разозлится же он на такую просьбу?.. Эта мысль, на первый взгляд нелепая, стала той соломинкой, за которую, по пословице, держится утопающий, и на следующее же утро архимандрит снова отправился в Пустое.

Лакей впустил его, не выказав ни малейшего удивления, и отправился докладывать. Фаворский, спохватившись, велел передать, что имеет до Аполлона Владиславовича дело.

– Просят обождать, пожалуйста-с в залу, – пригласил лакей, вернувшись, и у архимандрита несколько отлегло от сердца: он боялся, что Темирханов вовсе его не примет.

В зале он сперва скромно встал в уголку, невольно припоминая свой предыдущий визит. Темирханов захотел проучить его – но за что? Ну, сказал он несколько громких слов... Не признаваться же, что он ничего так не желал, как служить в Москве или в Петербурге – да что там, хоть в Казани!.. Светское лицо, услышав от монаха такое признание, сейчас и раскритичится – ах, карьерист! в архиереи метит! – и даже такое лицо, которое само не верует ни в Бога ни в черта и зевая выстаивает обедню, чтобы понравиться новому начальству... С мрачной злобой Фаворский сжал губы. Духовные – те хоть понимают, что по порядку, не нами заведенному, ни один кандидат и ни один магистр, принимающий монашество, не может не вообразить, хоть на минуту, митры на своей голове...

Совесть его, однако, не была вполне покойна – не оттого ли и задели его нелепые, в сущности говоря, намеки Темирханова? Но его ли это вина, что он не склонен к религиозной экзальтации и, главное, не настолько глуп, чтобы успокоиться на том, на чем успокаивается большинство, не идя далее?

Притом он почти и не лгал, когда говорил, что хорошо было бы устроить больницу... Ну, пусть не больницу, но хоть аптеку, или, скажем, нанять фельдшера. Но без денег этого не сделаешь, а денег было не сыскать, так что вместо этого Фаворский сам, на свои средства, пополнял скудный запас лекарств и сам же, сверяясь с лечебником, выдавал братии, а по случаю и мужикам, касторовое масло, свинцовую воду и хинный порошок. Как говорится, не до жиру – быть бы живу, хорошо, никто пока не хворал серьезно...

Забили стенные часы, и Фаворский вздрогнул. Больница! О том ли теперь надо думать?..

Не слишком ли рано он явился? Сам он в монастыре привык подниматься в шестом часу, но у светских людей другие привычки; вот только Темирханов наверно не спал, лакей не стал бы будить его. Или он нарочно – подумал Фаворский – заставляет посетителя ждать?..

Присев на край кресла с потертой бархатной обивкой и сцепив пальцы в замок, он принялся рассеянно разглядывать висевшие на стене картинки в узких рамках, изображавшие псовую охоту. От нарастающего волнения его начинало мутить. Не в дурном ли настроении

Темирханов нынче проснулся? Подумать только, от какого пустяка, может быть, зависит теперь его, Фаворского, будущность!

Прошло не менее сорока минут, прежде чем за дверью послышались шаги. Монах поспешно встал с места.

– Простите, что заставил ждать, я иногда поздно встаю, – любезно, но с оттенком небрежности сказал Темирханов, подавая руку, то есть не руку, а так только, два пальца. – Прошу, садитесь. Я вас слушаю.

Тщательно вымытый и причесанный, с гладко выбритыми щеками, он был в прекрасном шлафроке на шелковой подкладке и в черном галстуке, заколотом очень простой и, верно, очень дорогой булавкой.

– Аполлон Владиславович, – начал архимандрит, чувствуя, что в горле у него пересохло, – я прежде всего хотел извиниться. Я надеюсь, вы не приняли за... за неуважение...

– Не беспокойтесь, – усмехнулся тот.

Не зная, как перейти к цели своего визита, Фаворский замялся.

– Вы сказали, у вас до меня дело? – Темирханов догадался прийти ему на помощь.

– Да, именно так. Я... Я бы не стал вас тревожить, но мои обстоятельства... Я упоминал, кажется, что у монастыря есть долги... Я делаю что могу, но я не чудотворец, и за такой срок... Теперь надо платить, а в отсрочке мне отказали. Если бы вы... Если бы вы были так добры...

От стыда он едва мог говорить. Но Аполлон Владиславович, очевидно привычный к подобным разговорам, смотрел на него с брезгливой скукой, и этого взгляда Фаворский не выдержал. Будто это он сам, лично наделал долгов!

– Я прошу только поверить мне в долг, то есть не мне, а монастырю... Я напишу вексель... что угодно, – быстро сказал он сквозь зубы, не глядя на Темирханова.

Тот колебался – ему, кажется, пришла какая-то мысль.

– Позвольте, я буду говорить откровенно, – начал он неторопливо. – Вы ведь не такой идеалист, каким прикидывались...

Фаворский, не отвечая, опустил глаза.

– Так послушайте, я опытнее вас – я дам вам совет. Вы просите поверить вам в долг и тут же говорите, что деньги вам нужны, чтобы расплатиться с другими долгами – подумайте сами, многие ли захотят дать?

– Вы правы, правы! – боясь услышать отказ, заторопился архимандрит. – И я не посмел бы беспокоить... но крайняя необходимость...

Слова словно застревали у него в горле, рот жалко кривился.

– Я хочу сказать, – спокойно пояснил Темирханов, – что вы ищете денег, а надо искать покровительства; деньги приложатся. Без этого карьеры не сделать, поверьте, я знаю, о чем говорю.

Фаворский в первый миг не мог скрыть досады. Покровительство! Легко сказать! Будь у него, к примеру, знатная родня... Но близкой родни у него не осталось, а от дальней он сам раза два получал слезные письма с денежными просьбами и посылал просителям сколько мог – одному восемь рублей, а другому пять. Профессора были довольны им, но в академии не оставили и хорошего места занять не помогли; начальники по службе или не замечали его, или прямо ему вредили, а благодетельствовали другим. Верно, надо было льстить, заискивать, но это было гадко, да он и не умел этого – не приведи Господь, какое-нибудь важное лицо обидится, приняв его неловкую лесть за насмешку.

Но, главное, даже найдись добрая душа – когда это еще будет, а деньги нужны были сейчас...

– Ваш совет очень хорош, – уклончиво ответил он, чтобы не раздражить Темирханова, – и я был бы рад ему последовать...

Тот, усмехнувшись, посмотрел на него с одобрением.

– Это умно... Много вы должны?

Не веря своим ушам, Фаворский чуть дрогнувшим голосом ответил:

– Восемь тысяч... То есть всего восемь, но теперь надо отдать шесть, – прибавил он, точно испугавшись, что назвал слишком крупную цифру.

Белев ему подождать, Темирханов вышел. Монах, поднявшийся с места, когда он встал, проводил его взглядом, снова сел, достал из кармана рясы платок и, сняв клобук, вытер лицо и шею.

Вернувшись, Аполлон Владиславович подал ему два банковые билета, всего на восемь тысяч рублей.

– Расписок не надо, – предупредил он, – я не в долг вам даю.

– Вы... Вы не шутите? – растерялся Фаворский. – Покорнейше благодарю! Аполлон Владиславович...

– Не стоит, – остановил его Темирханов. – Я еще не пил сегодня кофе – составьте мне компанию.

Фаворский, само собою, согласился, но, несмотря на всю свою радость, под насмешливым взглядом Аполлона Владиславовича чувствовал себя весьма неловко и откланялся, как только счел это приличным.

Глава пятая

В начале июня Фаворский слушал обедню в летней церкви. «Холодная Введенская церковь построена в начале восемнадцатого столетия, о чем свидетельствует памятная надпись, расположенная с правой стороны от входа, – писал он в своем очерке. – Церковь эта довольно высока, но не обширна, с одною главой, и соединена крытою галереей с трапезной палатой. Иконы в иконостасе работы довольно хорошей, сам же иконостас украшен позолоченной резьбою...»

Фаворский стоял в алтаре, и взгляд его упирался в потемневший образ святителя Николая, с мужицким лицом и глазами, которые смотрели вправо и вверх. Стена за образом была желтоватая, в трещинах, с бурыми потеками. От вида этой стены и еще оттого, что хор из двух послушников и одного монаха пел нестройно, фальшивя и слишком торопясь, настоятель то и дело досадливо морщился, так что можно было подумать, будто у него болят зубы. На певчих он, однако, махнул рукой – все равно день был будний, и богомольцев почти не было...

После запричастного стиха один из певчих дребезжащим старческим голосом, растягивая слова, стал читать по книге. Фаворский, не слушая, думал о своем, когда в алтарь вошел казначей с тарелкой для сбора – на тарелке, обтянутой сукном, среди нескольких копеек и гривенников лежала радужная бумажка.

– Кто? – удивился Фаворский.

– Господь его знает, из благородных. Да вы сами поглядите, – прошептал казначей, кивая на алтарную дверь.

Сквозь резьбу с облезшей позолотой, изображавшую виноградную лозу, Фаворский увидел Темирханова – тот стоял возле колонны и, кажется, внимательно слушал чтение.

Фаворский почувствовал замешательство. Он, само собою, был чрезвычайно признателен этому господину, и в то же время на душе у него от их недавней встречи остался неприятный осадок. Просить, *так* просить было все-таки унижительно, и унижительно была та циническая *откровенность*, с какой Темирханов говорил с ним, говорил так, будто он, Фаворский, не свои обязанности исполнял, а был каким-то лгуном и проходимцем...

У него даже мелькнула малодушная мысль не выходить сразу из алтаря – Темирханов, может быть, уедет и не станет его спрашивать; но этой мысли Фаворский устыдился. Что бы там ни было, Аполлон Владиславович истинный его благодетель, избегать его нехорошо... И что за ребячество – прятаться!

Выйдя тотчас после отпуста, Фаворский должен был, однако, постоять немного в сторонке – *благодетель* как раз пошел ко кресту, и очередной иеромонах стал благословлять его крестом... Поймав взгляд Темирханова, Фаворский поклонился, но вместо того, чтобы тоже поклониться по-светски, Темирханов, подойдя, взял у него благословение и поцеловал руку, которую растерявшийся архимандрит не догадался убрать.

– Простите, Аполлон Владиславович, я не ждал вас, – сконфузившись, зачем-то извинился он и поспешно предложил благодетелю выпить чаю.

Проводив Темирханова в свои покои, Фаворский пригласил его садиться, а сам, выйдя в сени, зашептал келейнику:

– Подай чаю, того, хорошего, от Афанасьева. Обеда не надо. Поживей...

В это время архимандрит обыкновенно обедал, но его обед по большей части был тот же, что в братской трапезной, то есть каша, *щи со снятками*, картофель и тому подобное, – предлагать его такому гостю было бы неудобно. Зато чай Фаворский покупал особо, по три рубля за фунт...

Аполлон Владиславович, держа в руках шляпу, лениво, несколько снисходительно разглядывал ветхую мебель красного дерева, портреты каких-то архиереев, писанные не очень умелой рукой, горшки с чахлой геранью и белую кисею на окнах.

– По правде говоря, я приехал звать вас вечером к себе, – объявил он, когда Фаворский вернулся. – Я нынче именинник, по такому поводу грех не выпить шампанского, а в одиночку как-то глупо.

В минее за этот день была только одна служба – священномученику Дорофею. Архимандрит смутился.

– Я не знал, извините, – позвольте вас поздравить...

– Так вы приедете?

Фаворский, разумеется, отвечал, что приедет. Явился келейник с самоваром, и, отослав его, чтобы не подслушивал, монах стал заваривать чай. Темирханов просидел недолго и уехал, обещав прислать коляску в пять; проводив его, архимандрит поглядел в окно, выходящее на монастырский двор, а затем достал месяцеслов – в нем и точно значилась память мученика Аполлона.

– Представьте, – говорил Темирханов, разливая по стаканам шампанское, – какой-то здешний лавочник прислал целую дюжину «Редерера». Вот и пригодилось.

– Ваше здоровье, Аполлон Владиславович.

– Не нравится? – спросил тот, видя, что Фаворский выпил совсем мало.

– Помилуйте, вино очень хорошее.

– Но вы не пьете?

– Я не привык пить много, – извиняющимся голосом пояснил архимандрит.

– Вы говорили – я помню, но я думал, вы это так...

– Я понимаю, почему вы подумали, – Фаворский опустил глаза, стараясь не показать, что задет. – Пьянство – распространенный порок в нашем сословии, и на него нередко смотрят снисходительно, но в действительности это настоящий бич...

Темирханов, сдерживая усмешку, подлил вина и себе, и ему.

– Простите, я не собирался читать проповедь, – смутился монах, сообразив, что выбрал не совсем подходящий к случаю предмет.

Взять того прямого до фамильярности тона, который задавал хозяин, он не мог и, не понимая, как держаться, досадовал на себя и на него. Право, разве подходящая он компания для такого барина?..

Наконец Аполлон Владиславович, тщетно пытавшийся его разговорить и начинавший уже поглядывать с неудовольствием, как бы невзначай спросил:

– Да, а что это значит, что вы уморили какую-то генеральшу?

Фаворский вспыхнул.

– Это... это неправда!

– Я слышал, вы внушали ей мрачные идеи, чтобы заставить ее завещать монастырю капиталы, и довели бедную старуху чуть не до могилы, – спокойно продолжал Темирханов.

– Нет, я и не думал! Я...

– Говорят, у ней тысяч семьдесят или восемьдесят? У вас хороший аппетит.

– Аполлон Владиславович, уверяю вас, я ничего этого не делал!

– Нет, почему же, – возразил Темирханов, пожимая плечами, – я понимаю, куш немаленький.

– Это все сплетни, она хотела дать в монастырь тысячи три, не больше, и не по духовной, а так... Она и прежде делала такие вклады, это известно, и у меня в мыслях не было...

– Ну а все-таки, признавайтесь, запугивали старуху?

– Нет, не запугивал! Я и был-то у нее всего раза три, ну четыре... У нее была нездоровая мнительность, и что-то вроде... что-то вроде *idée fixe*⁶... – с трудом подбирая слова, пытался объяснить Фаворский, – но я бы не стал... Аполлон Владиславович, поверьте! Это все выдумали, когда она слегла... Я приехал – ради приличия, справиться о здоровье, а меня приказали не принимать и еще растрезвонили по всему городу, что я их только что не ограбил!..

Случай с генеральшей и был тем новым беспокойством, которое по вине Фаворского причинили владыке. Старуха-генеральша, богатая, вздорная и скупая, почти определенно обещала сделать к Пасхе щедрое пожертвование – но в Лазареву субботу с ней сделался удар, от которого, как передавали, она едва ли могла вполне оправиться. Чаемая лепта, таким образом, ушла у Фаворского буквально из-под носа, так что он не мог не досадовать и вместе совестился своей досады.

Но этим не кончилось. Узнав, что генеральша плоха, приехала из Москвы ее дочь со своим семейством, потом сын, сам уже немолодой человек, чиновник, служивший где-то в Сибири. Фаворского они сгоряча обвинили Бог знает в чем – и монах имел очень неприятный разговор с владыкой; по счастью, сын генеральши был человек благочестивый, пел даже на клиросе, да притом и сам почувствовал небольшую неловкость оттого, что слишком уж раздул эту историю, и в конце концов согласился *извинить* мизгиревского архимандрита...

– Я не отрицаю, что ездил к ней, но ведь это... это обычное дело! И я никогда не стал бы...

Задетый до чрезвычайности, Фаворский не понимал, как Темирханов может считать его мерзавцем, способным издеваться над полубезумной старухой, и продолжал оправдываться – пока не заметил, что Аполлон Владиславович насмешливо улыбается.

– Вы и не верили! Вы это нарочно, вас забавляет...

– Забавляет, само собой, – не переставая улыбаться, Темирханов пожал плечами.

– Я не понимаю...

– Вы же хотите сделать карьеру?

– Но не карьеру шута, – возразил монах, и, от заговорившей ли в нем старой обиды, или от почти двух стаканов вина, которые его все-таки заставили выпить, его слова прозвучали слишком резко.

Он спохватился – но было поздно. Темирханов не спеша вытер рот салфеткой и бросил ее на стол.

– Вот как? – спросил он после паузы. – Надо полагать, вы считаете, что это унижает ваше достоинство?

Не дождавшись ответа, Аполлон Владиславович так же спокойно и медленно продолжил:

– Но для чего же вы в таком случае взяли у меня деньги?

«Ищите покровительства». Фаворский залился краской. Вот кого видел в нем Темирханов – не мерзавца, а просто прихлебателя, шута, паразита...

– Я думал, вы... я... Я верну вам, – залепетал он беспомощно, начиная сознавать, в какой переплет он попал.

У Темирханова на скулах показался темный румянец.

– Не трудитесь, нет нужды, – перебил он ледяным тоном. – Я виноват, каюсь! Я ошибся на ваш счет... Это мой недостаток – я часто думаю о людях дурно. Виноват!

Язык у Фаворского *прильпе к гортани*; но Темирханову показалось, что ему хотят возразить, и он, предупреждая, поднял руку.

– Нет, позвольте, я понимаю – вы не желаете подличать, пусть и за протекцию... Я, однако, возьму на себя смелость напомнить: при нашей первой встрече вы ломали комедию, разыгрывали какого-то бессребреника, а сами только ждали, чтобы я предложил денег... Это вы за подлость не считаете?

⁶ Навязчивая идея (*фр.*).

Откинувшись на спинку стула, Темирханов посмотрел на монаха изучающим взглядом.

– Я думал, вы умны, и мы будем друг другу полезны, – сказал он с видом сожаления, – но – дело ваше, не смею задерживать.

Встав из-за стола, он присовокупил с расстановкой:

– Да, вот еще... Вы не слушаете советов, но я все-таки скажу: смирите свое самолюбие – ради вашего же блага.

– Вы же не станете... – обомлел Фаворский.

Темирханов брезгливо поморщился.

– Нет, это ни к чему... Поверьте моему опыту: вы сами поймете, какую сделали глупость, не теперь, так после. Вот только не было бы поздно, – с прорывающейся яростью прибавил он и вышел из столовой.

Дождавшись, пока шаги его стихнут, Фаворский на нетвердых ногах пошел следом.

Глава шестая

Вернувшись в монастырь – благо, коляску ему заложили, не то пришлось бы идти четыре версты пешком, – Фаворский отослал служку и затворился у себя. Не зажигая свечи, он бросил на стул рясу и лег на постель, покрытую стеганым шерстяным одеялом. Слушая отповедь Темирханова, он натерпелся страху, до тошноты, до дрожи в коленях, и этот страх – вечный страх всех духовных перед *князьями*, которого, кажется, было не вытравить, не изжить, – и теперь не отпускал его, мешаясь с каким-то тоскливым отвращением.

Хуже всего было то, что Темирханов был прав: с его покровительством Фаворский без труда получил бы место в Петербурге, а не прозябал бы здесь под началом владыки, которому давно пора на покой... И всего-то надо было стерпеть безобидную шутку! Как он мог забыть, с кем говорит, как мог так неосторожно... Да, он забылся, из лучших чувств забылся! И шампанское, будь оно неладно...

Но, как ни уговаривал себя Фаворский, при мысли о *шутке* и обо всем, что было сказано после, у него сами собою сжимались кулаки, а на глаза наворачивались злые слезы.

Подлость! В чем же подлость делать то, что надобно делать? И в этом ли его вина? Нет, этот блестящий барин, ни в чем не привыкший встречать отказа, не вспылит бы так, если бы сам не сел в лужу, подумал Фаворский с мстительным чувством – но это чувство скоро пропало, едва он вспомнил, что Темирханов, разозленный, мог бы и не спустить ему этого вот так.

Сколько слыхивал он рассказов о том, как такой-то и такой-то сановник, оскорбившись Бог знает чем, даже куском ветчины, съеденным монахом, – как покойный Муравьев, ревнитель православия... Да что ветчина! Иные, говорят, оскорблялись чуть не видом пуговиц, которые портной, не спросясь, нашил на заказанную ему рясу, оскорблялись и требовали для хозяина рясы, без вины виноватого, наказания. Вот если бы и Темирханов пожаловался, если бы в самом деле потребовал вернуть деньги – это было бы скверно, так скверно, что и сказать нельзя... а так – ну, подумаешь, отчитали! Ведь не убудет же с него, и надо еще радоваться...

Но радоваться не выходило, и на душе было гадко.

В монастыре, конечно, заметили, что настоятель вернулся из Пустого сильно не в духе. Григорий попытался было вывести что-нибудь, но не преуспел; отделившись от него, Фаворский подумал, что если даже не станет жаловаться Темирханов, а только прислуга, которая могла что-нибудь слышать, начнет болтать, то все-таки может дойти до владыки... Не в силах сидеть сложа руки, архимандрит на третий день решился съездить в город – послушать, не говорят ли уже, что мизгиревский настоятель рассорился с приехавшим из Петербурга баринном, и заодно развлечься от другой неотвязной мысли...

Старый его экипаж был уже заложен, когда ему донесли, что со стариком иеродьяконом Трифоном, которого накануне навещал племянник, опять случился *грех*. Тяжело вздохнув, Фаворский велел кучеру подождать и пошел в братский корпус.

– Ну что вы, отец Трифон, снова? – с досадой спросил он, входя в низенькую келью, в которой запах ладана и известки мешался с винными парами. – Вы ведь зарок давали...

Трифон, сидевший на койке, молчал, насупясь. Поношенный нанковый подрясник был измят и расстегнут у ворота, под ним виднелась серая, не очень чистая полотняная рубаша. Седая, тоже какая-то помятая борода иеродьякона вздрагивала, по-старчески блеклые голубые глаза были красны.

Фаворский, начав со строгости, быстро перешел к увещаниям и уговорам, которые, как сам он понимал, были почти бесполезны; и, когда старик пробормотал что-то, что означало раскаяние, сделал вид, что этого довольно, не глядя преподал благословение и торопливо ушел.

Что – снова против воли думалось ему, – что, если поехать?.. Нет, нельзя, поздно – *он* сказал, что будет поздно...

N-ская духовная консистория помещалась в одноэтажном каменном здании с железной крышей, построенном по соседству с архиерейским домом. Фаворский поздоровался со знакомыми, перекинулся парой слов со столоначальником, отдал привезенные бумаги и хотел было уходить, досадуя на себя за надуманные страхи.

– ...Темирханов, – раздалось где-то у него за спиной.

Фаворский прирос к месту.

– Спасу нет от тараканов, ничем их, проклятых, не возьмешь, – говорил тот же голос, – травы не трави...

Догадавшись, что ослышался, архимандрит выдохнул и, покачав головой, вышел. Во дворе, занятый своими мыслями, он словно натолкнулся на чей-то взгляд и, остановившись, рассеянно пригляделся, не сразу признав товарища по семинарии, которого не видал с самого выпуска. Прежде они были не то что дружны, но отличали друг друга, и тот, увидев, что Фаворский смотрит на него, с готовностью шагнул навстречу.

– Акиндин? Ярышев?

– Я, брат.

Они троекратно облобызались.

– Я думал, ты признаваться не хочешь, – прибавил он.

В его худом лице мелькнуло какое-то просящее, приниженное выражение. Фаворский смутился.

– Нет, отчего же... Я и правда тебя не заметил – задумался. Я и не знал, что ты здесь служишь.

– Я в... – Ярышев назвал отдаленный уезд.

– Что ты, в консисторию?

– У меня брат в семинарии душит... Мало ему, что с папироской поймали, еще и начальству надерзил. Вот, грозятся казенного содержания лишить. А я его содержать не могу – квартиры дорогие, и одеть-обуть надо, а на мне, с ним считая, восемь ртов. Пришел хлопотать, а тут ведь тоже с пустыми руками нельзя, хоть полфунта чаю вынь да положи...

В семинарии Ярышев учился недурно и мог бы пойти в академию, но кончил курс третьим и на казенное содержание рассчитывать не мог, да и сам желал поскорее принять сан и взять на себя заботу о матери и младших братьях. Для этого надо было жениться. Старый обычай заключения браков в духовном сословии известен: вчерашнему семинаристу, желающему быть священником, но не имеющему в виду прихода, сватают дочь священника или дьякона, за которой архиерей закрепил место. Если жених умеет себя поставить, то, случается, может выговорить и приданое: невестины родные, если только есть родные и если не совершенно они бедны или не совершенно жестокосердны, первые заинтересованы в том, чтобы найти ей, сироте, кормильца взамен покойного родителя, и не только ей, но и младшим братьям и сестрам, и престарелой матери.

И хотя высшие церковные власти объявили сей обычай нежелательным, но другого способа позаботиться о вдовах и сиротах из духовных пока не придумано и, не будь этого обычая, сии последние оставались бы совершенно без средств к существованию: священник, в особенности сельский, за всю свою жизнь едва ли скопит что-нибудь под старость, чтобы оставить семье. Даже и дом, в котором он живет, очень часто бывает не его, а церковный и переходит к тому, кто заступает его место, и от одной доброй воли нового пастыря зависит, питать ли вдову и детей своего предшественника, делясь и без того скудными средствами и лишая необходимого собственное семейство, или же отправить на все четыре стороны... Поговаривают, впрочем, об эмеритальных кассах – но дело это с кассами не очень-то движется.

Так и вышло, что, сыскав невесту – а невеста сыскалась, притом не старая и собою не дурная, характера мягкого и уживчивого, – Ярышев, кроме себя самого и жены, должен был кормить и одевать и свою старуху мать, и женину, трех своих братьев и одного жениного и двух жениных сестер. За минувшие без малого десять лет мать Акиндина преставилась, а кое-кто из младших выучился и устроился на место – но взамен родились дети. Между тем, хотя Ярышев перевелся уже на новое, нынешнее, место, дохода у него как было рублей около двухсот в год, так и оставалось. Благо один из братьев, тот, что пристроился получше и сам пока не женился, мог несколько помогать семейству старшего, так что голодать, слава Богу, не голодали...

Фаворский не перебивал, глядя на старого товарища с затаенным сочувствием. Ярышев, поймав его взгляд, вдруг замолчал и, отведя глаза, сердито потрянул полами линиялой залатанной ряски, облепленной понизу комками присохшей грязи, травинками и каким-то сором. Он видимо стыдился своего затрапезного вида.

– Да ты не смотри, брат, что я так... Староста, подлец, жалобу подал, мол, у меня в алтаре газеты хранятся... А я, правда, с газетой в руках раз заскочил, у учителя взял... всего-то на пять минут, и сейчас назад. Выхожу, он тут как тут... Ну, я и походил в причетниках, вот только с Вознесенья служить стал. А все почему? Потому что я ему, подлецу, в ножки не кланяюсь. Дьякон, тот так и лебезит...

Ярышев презрительно скривил губы и только что не плюнул. Прямой и независимый его характер и правда был причиной постоянных стычек со старостой, богатым мужиком, привыкшим к известным знакам внимания со стороны причта. Фаворскому стало как-то не по себе, он помрачнел и, когда Акиндин, хлопнув себя по лбу, сказал: «Да что я, дурак, все о себе болтаю», – и перешел к расспросам, отвечал неохотно и быстро перевел разговор на бывших товарищей и наставников. Ярышев снова пустился рассказывать:

– Павлов в Казань экзамены выдержал; Авдеев, помнишь, в университет хотел? Не пустили, ну, так и остался, сана не принимает, пьет... Богоявленский зимой поехал на требы, с дороги сбился, замерз... Александров тоже помер, от тифа, – Акиндин вздохнул, покачал головой. – Миропольский в училище... Помнишь его? Он еще Оригена ко святым отцам причел...

Ярышев хохотнул: ему доставляло видимое удовольствие говорить о чем-то, не касающемся до его теперешних обстоятельств. Фаворский тоже улыбался, но немного натянуто, и скоро несколько торопливо сказал, что должен ехать. Ярышев погрустнел – видно было, что ему и еще хотелось бы поговорить. Прощаясь, архимандрит достал десятирублевую и украдкой подал однокашнику. Тот, вздрогнув, вместе с кредиткой схватил его руку и хотел что-то сказать, но Фаворский отнял руку и поспешил уйти.

На обратном пути он долго глядел на расстилающуюся по обе стороны дороги унылую равнину, а когда до пустыни оставались какие-нибудь три версты, приказал кучеру, с усилием вдохнув тяжелый воздух:

– В Пустое, поворачивай...

Глава седьмая

Парило, словно перед дождем; над застывшими верхушками деревьев низко нависали серые облака. С резкими криками чертили фигуры в неподвижном воздухе стрижи. Аполлон Владиславович, без пиджака, сидел с книгой на веранде: здесь было не так душно, как в комнатах.

– Просите, – велел он, когда лакей доложил о посетителе.

При виде жалкой фигуры монаха Темирханов самодовольно и вместе насмешливо улыбнулся, положив ногу на ногу и выставив вперед округлый носок начищенной до блеска ботинки. Он указал Фаворскому на стул против себя, но монах остался стоять и, не глядя на Темирханова, заговорил, сбиваясь:

– Аполлон Владиславович, вы были правы. Я... Я очень глупо себя вел, извините меня... Это не повторится, ради вашего покровительства я... готов...

– Да, вы порядочно сглупили, – спокойно согласился Темирханов, – но все-таки сядьте, я не люблю...

Архимандрит присел на край стула.

– У вас там, может быть, принято, – продолжил Аполлон Владиславович, с брезгливым недоумением пожимая плечами, – но мы с вами образованные люди, так что давайте без этого... Да, я и сам погорячился, хотел вас немного проучить – *homo sum*⁷, знаете ли...

Это было сказано как будто с небрежностью; Фаворский, почуявший неладное, сидел не шевелясь.

– Вы, верно, решили, что я самовлюбленный болван, – Аполлон Владиславович пытливо взглянул на монаха. – Я угадал? Не запирайтесь, у вас на лице написано.

Фаворский почувствовал, что на лбу у него выступает испарина. С трясущейся нижней челюстью он выговорил:

– П-помилуйте, как я могу...

– Нет-нет, давайте начистоту, – потребовал Темирханов с притворной усмешкой, – не бойтесь, вы меня этим не обидите.

– Аполлон Владиславович, прошу вас...

Но Темирханов только холодно посмотрел на него. Фаворский вскинул голову, стиснув зубы так, что мускулы у него на лице задрожали. Точно летя с высоты, он встретился с Темирхановым взглядом и тихо, но отчетливо и зло сказал:

– Да, я это подумал.

Не меняя выражения лица, Аполлон Владиславович на несколько мгновений прикрыл слегка веки, но после спокойно подтвердил:

– Я, может быть, и правда таков, а значит, с вашей стороны было глупо вдвойне... Но видите, в чем дело: ведь не я один, все таковы – я-то, уж простите, буду еще лучше многих. И вам придется с этим считаться, иначе, поверьте моему опыту, по службе вы не продвинетесь, хуже того...

Пока он говорил, Фаворский, с серым лицом, молча слушал; нелепый его выпад забрал у него последние силы.

– Я говорю это для вашей пользы, – продолжал Темирханов. – Я только немного задел вашу гордость, и вы...

– Я понимаю, Аполлон Владиславович, понимаю...

⁷ Я человек (*лат.*). Первые слова латинского изречения: «*Homo sum, humani nihil a me alienum puto*» («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»).

– Нет, не понимаете! – возразил тот, повышая голос. – И если не поймете, вам это дорого будет стоить.

– Я понимаю, понимаю... Поверьте, я не идеалист, – монах, пересиливая себя, заискивающе скривил губы, – я только не думал, что вы...

Того, чего он в самом деле *не думал*, то есть что Темирханов поведет себя так, как не ведут себя порядочные люди, – этого сказать, разумеется, было нельзя; но что-то сказать было надо, и Фаворский залепетал уже совсем невразумительно:

– Я не предполагал... что вы... Такой человек, как вы... изволите...

– Вы что же, льстить пытаетесь? – захохотал Аполлон Владиславович. – Нет, оставьте, я этого не люблю. Да и получается у вас скверно...

Монах взглянул было на него, но поспешно опустил глаза. Темирханов помолчал, раздумывая.

– Вперед будьте умнее, – сказал он наконец. – Теперь вам повезло...

– Так, значит, я... Я могу надеяться?

Аполлон Владиславович усмехнулся.

– Чего вы хотите, места? Я вернусь осенью в Петербург и там посмотрю, что можно для вас сделать, – а до тех пор, уж пожалуйста...

Фаворский с готовностью затряс головою. Петербург!.. При мысли о Петербурге у него захватило дух, и он уже готов был извинить новообращенному *покровителю* свое унижение... И как было не извинить? И разве не он, Фаворский – подумать только! – какие-нибудь пять минут назад в лицо оскорбил его? Пусть Аполлон Владиславович сам заставил его говорить, но тон, тон! За один этот тон... Нет, обещал себе архимандрит с нахлынувшим запоздалым страхом, больше он не забудется, никогда...

Темирханов – он глядел снисходительно, с благодушной, самодовольной усмешкой – позвонил и велел подать чаю.

– Вообще это не в моих правилах, – говорил он неторопливо, разливая чай, – подавать на бедность или хлопотать по чужим просьбам... Видите, когда просят об определении на место или о чем-нибудь подобном, то есть для пользы частного лица... Ведь хороших мест на всех не хватит, и я, доставив место одному, прочих оставлю ни с чем – на каком основании? Нет, это та же борьба за существование, и я в нее не вмешиваюсь... Дарвина не читали вы?

– Нет, я... Но как же, Аполлон Владиславович, вы изволили сказать... – забеспокоился Фаворский.

– Я не о вас – с вами мы договорились... Но, видите ли, иные полагают, что я должен исполнять их просьбы по той только причине, что я в силах... Но я *не в силах*, – с нажимом произнес Темирханов, – помочь каждому, следовательно, с моей стороны было бы в каком-то смысле даже несправедливо помогать одному в ущерб другим...

Фаворский, успокоенный, взял свой стакан. Чай, хороший, стоивший, должно быть, рублей десять, с густыми сливками и сахаром, был очень вкусен.

– Нет, я сознаю, что принадлежу к *господствующему классу* и занимаю место эксплуататора, – продолжал Аполлон Владиславович с презрительной усмешкой, – и по одному этому должен чувствовать вину – знаете, мне иногда приходят анонимные письма... Но поглядел бы я, как эти господа, социалисты, устроили бы иначе! Меня называют эксплуататором, и не хотят понять того, что без эксплуатации не будет прогресса... Это все, впрочем, одна утопия, этим грезят мальчишки, идеалисты, вроде тех, которые в мое время призывали к *борьбе*, а сами ничего, кроме как бумагу марать, не умели, записывали друг друга в пророки и властители дум и эмансипировали женщину, потому что не знали, как к ней иначе подступиться... Вы, разумеется, так не считаете, – утвердительно сказал он, взглянув на архимандрита.

– Я... – Фаворский, от неожиданности растерявшись, пытался собраться с мыслями. – Почему же... то есть... Я только думаю, что, если устроить... производство... на разумных началах... Но я мало разбираюсь, – поспешил прибавить он.

– Что же, по-вашему, есть *разумные начала*? – уточнил Темирханов с иронией. – Нет, из этого выйдет только то, что одна форма эксплуатации будет заменяться на другую... И этого не переделать – разве как у Иоанна Богослова, новое небо и новую землю надобно, а на старой все будет по-старому. Ведь фаланги и коммуны сами собою не устраиваются, и в них уже хотят согнать силой – что и требовалось доказать... Как это будет по-латыни?

– *Quod erat demonstrandum*...⁸

– Да, именно... – Аполлон Владиславович взял свой стакан и с ленивой усмешкой повторил известное присловье: – Кто чай пьет, тот отчаётся. Слыхали?

– А кофе на семи вселенских соборах проклят, – пошутил Фаворский, принужденно улыбаясь.

«Лакей... Ну и пусть, пусть лакей», – думал он.

– Как вы сказали? – оживился Темирханов. – На семи соборах?

– Да, это... Это раскольники говорят.

Во взгляде благодетеля читалось одобрение.

– Вы не голодны? Не стесняйтесь и на меня не смотрите – я недавно завтракал. Я кофе пью в десять, а завтракаю в два...

– Вы... Ваша милость очень добры.

– Я просил, – досадливо поморщился Аполлон Владиславович, – без церемоний... Расскажите лучше, почему вы пошли в монахи. Неужели по убеждению?

– Я учился за казенный счет, – пожал плечами Фаворский, – значит, должен был или служить по духовно-учебной части, или принять сан...

Темирханов усмехнулся.

– Но вы-то...

– Аполлон Владиславович, я до пострига два года прослужил в семинарии... Вы не знаете, что такое провинциальная служба! Ведь это болото! Что мне оставалось? Я не оправдываюсь...

Он торопился говорить, как бы извиняясь за то, что посмел показать зубы, и вместе так, будто ему в самом деле надо было оправдаться, надо было, чтобы Темирханов стал на его сторону, – хотя никакой действительной нужды в этом не имелось, и он смутно чувствовал, что здесь-то и было более всего лакейства и подлости...

– И даже если хочешь... что-то хорошее... Развивать умы воспитанников, внушать правильные понятия, поощрять интерес к знанию... Где там! Сам отупеешь, забудешь, чему учился. Все вечера за картами... В конце концов или сопьешься, или оскотинишься. Жалованье копеечное и, понимаете, никакой, решительно никакой перспективы... Ну, а монахом... – он замялся, но, видя, что Темирханов ждет, отвел глаза и нехотя, с изменившимся выражением, выговорил: – Академист постригается, чтобы стать архиереем, это все знают.

– Недурно, – похвалил Аполлон Владиславович. – Хотите ездить шестерней?

По его тону, впрочем, нельзя было понять, смеется он или говорит серьезно.

– Нет... Я не потому. Но что было делать?... Разве отслужить, что положено, перейти в консисторию и драть с просителей по три шкуры, – как бы с вызовом сказал он и замолчал.

– Это, конечно, нехорошо – то, что вы говорите про консисторию, – спокойно отвечал Аполлон Владиславович, – но отчего же нельзя там служить?

Фаворский поскучнел.

– Я знаю, почему вы это, – тихо выговорил он в конце концов, – но есть же предел...

⁸ Что и требовалось доказать (*лат.*).

– Вы полагаете? – спросил Темирханов серьезно.

Помолчав, он улынулся немного презрительно.

– Но я понимаю: сделаться архиереем для вас, должно быть, заманчиво.

Монах поджал с досадой губы, но, конечно, ничего не сказал, и Аполлон Владиславович продолжил:

– Только архиереями и подавно без протекции не становятся, кто-нибудь да должен попросить, и для этого надобно самое меньшее быть на хорошем счету, а вы... – он посмотрел с сомнением. – Сюда-то вас за что отправили? Где вы прежде служили, тоже в семинарии, кажется? Что, из начальства кому-нибудь не угодили?

С тою же улыбкой он прибавил:

– Или казенными деньгами попользовались?

Покраснев, архимандрит хотел сказать, что никогда не стал бы красть у воспитанников: он сам слишком хорошо еще помнил, каково это – весь пост есть пустые щи из гнилой капусты, не из-за недостаточности штатных сумм, а из-за того, что эти суммы давно растрачены; но он догадался не говорить этого и, покачав отрицательно головой, стал рассказывать:

– Я не то что не угодил... Ректор с самого начала был против моей кандидатуры. Распускал слухи, что меня скоро переведут... Потом двое воспитанников устроили драку... в доме терпимости... Я доложил ректору, этих двоих исключили, но они в ответ подбили оставшихся товарищей бунтовать и требовать моей отставки, до битья стекол дошло... Но я бы справился, если бы ректор меня поддержал... А он нарочно перед ревизией представил все так, что я слишком молод и что при мне не стало никакой дисциплины. Будто она до меня была!..

Глава восьмая

Аполлон Владиславович велел Фаворскому бывать запросто, не дожидаясь приглашения, и тот через два дня явился с новым визитом. Его пустили без доклада и проводили в кабинет хозяина – с массивным, грубоватой работы, диваном, креслами на гнутых ножках, письменным столом и большим рассохшимся книжным шкафом.

Темирханов, сидя за столом, разбирал какие-то бумаги. Лениво привстав, он подал архимандриту руку, которую Фаворский пожал не без робости, и, сказав ему садиться, прибавил:

– Вы кстати: спасли меня от Поль де Кока. – С усмешкой он кивнул на книги в углу стола.

Фаворский пригляделся: между старыми книгами было две-три новых, и еще несколько журналов.

– У вас здесь не один Поль де Кок, – заметил он.

– А вы что же, читали?

– Читал, – признался архимандрит.

В семинарии он читывал все, что только попадало в руки.

– И теперь читаете? – уточнил Темирханов, подразумевая, очевидно, изящную литературу вообще.

– Читаю, только трудно достать. Выписывать дорого, а попросишь у кого-нибудь – сейчас разговоры пойдут.

– Берите, если хотите. Мне и еще пришлют... Прежний хозяин, кажется, был не охотник до чтения: книги все тридцатых годов, и то половина неразрезанных... Посидите, я закончу.

Аполлон Владиславович стал что-то писать. Фаворский, взяв лежавшую сверху книжку «Русского вестника», подержал ее в руках и положил назад.

– Знаете, мне понравилось, как вы говорили о медицине, – сказал Темирханов, откладывая перо.

– Я не просто так говорил, – покраснев, ответил Фаворский. – Я прежде пробовал... не больницу, а...

Очень коротко, видимо совестясь своего прежнего красноречия, он объяснил, что намного проще было бы устроить приемный покой...

– И много ли будет проку? – возразил Темирханов. – Мужики, если заболевают, мрут не от того, что их не лечили, а оттого, что едят мякину вместо хлеба. Больные лежат вповалку со здоровыми, а как только встанут на ноги – идут работать... А в больнице чистая койка, сносная пища...

– Вы правы, Аполлон Владиславович, правы, – поспешил согласиться архимандрит. – Но у меня братии пятнадцать человек, и за больными просто некому ходить. Но, уверяю вас, от врача и аптеки польза будет, я сам имел возможность убедиться...

Темирханов пожал плечами.

– Составьте смету, я посмотрю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.